

любовой страсти, которая, как правило, не удовлетворяется. Эмма Андреевна («Огонек»), Рашель («Соль земли»), Надежда Николаевна («Сила характера») ищут шокирующих драматических эффектов, предельно театрализируют манеру поведения. Кроме этого, героиням С.И. Смирновой присуща внушаемость, склонность к фантазированию, стремление привлечь к себе внимание.

Выводы.

Трактовка «новых людей» в романах С.И. Смирновой-Сазоновой не соответствовала литературному манифесту складывающейся в «Отечественных записках» беллетристической школы. Вместо конфликта героически-деятельной личности с враждебной ей действительностью писательница изображает по преимуществу внутренние конфликты личности.

Соприкосновение произведений писательницы с эстетическим сознанием современной эпохи порождает новые интерпретации. Предметом дальнейшего изучения станет специфика женского письма С.И. Смирновой-Сазоновой, которая до сих пор остается неизученной.

Литература:

1. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах: Письма в 12-ти томах. – Т. 5. – М.: Наука, 1976. – 563 с.
2. Письмо И.А. Гончарова К.П. Победоносцеву. Публикация Н.А. Рабкиной / Литературная газета. – 1992. – 23 сентября. – С. 6.
3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – Стлб. 79.
4. Фридлиндер Г.Н. Национальное своеобразие и мировое значение русского романа // История русского романа: В 2 т. – Т. 2. – М.-Л.: Наука, 1964. – С. 591–627.
5. Смирнов В.Б. Литературная история «Отечественных записок» 1868-1884. – Пермь: ПГПИ, 1974. – 315 с.
6. Чернышевский Н.Г. Что делать? – М.: Детская литература, 1986. – 464 с.

Поступила 24.09.2004 г.

КОНЦЕПТЫ «СКУКА», «ТОСКА»

И МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ 1920-Х-1930-Х ГГ.

Е.Е. Лебедь

В предлагаемой статье исследуется изменение художественной семантики концептов «Тоска», «Скука» в советской литературе 1920-х-1930-х гг., совершается попытка расширить современное представление о феномене социалистического реализма через описание ключевых ментальных понятий.

Ключевые слова: концепты «Тоска», «Скука», русская и советская ментальность, советская литература

У статті, що пропонується, досліджуються зміни художньої семантики концептів „Туга” („Тоска”), „Нудьга” („Скука”). За допомогою ключових ментальних понять автор намагається розширити сучасне уявлення про феномен соціалістичного реалізму.

Ключові слова: концепти «Туга» («Тоска»), «Нудьга» («Скука»), російська та радянська ментальність, радянська література

The article studies the change of literary semantics of such concepts as “sadness”, “boredom” in Soviet literature of 1920-1930.

Key words: concepts “Yearning” (“Toska”), “Boredom” (“Skuka”), Russian and Soviet mentality, Soviet Literature

Среди концептов, наиболее ярко отражающих специфику русской ментальности, исследователи единодушно называют «Тоску» и «Скуку» [1; 5; 9; 11]. По свидетельству А. Вежицкой, в русском языке слово «тоска» и его производные на один миллион слов выпадают 89 раз [5, с. 510]. Заключение такого плана основывается на анализе классической русской литературы. То, что не приводится ни одного примера из советской прозы первых послереволюционных десятилетий, в высшей степени симптоматично. Тем не менее, при внимательном прочтении произведений этого периода нельзя не заметить, что в 20-е гг. слово «тоска» употреблялось не намного реже.

В современном литературоведении явно ощутим недостаток работ, посвященных ключевым ментальным понятиям, объясняющим феномен соцреализма. В попытке такого анализа заключается

актуальность данного исследования. Его цель – проследить изменения художественной семантики специфически русских концептов «Тоска» и «Скука» в советской прозе 1920-х-1930-х гг.

Как стало возможным появление тоски в литературе, где во главу угла догматично ставились исторический оптимизм, энтузиазм и вера в светлое будущее? Как мотив тоски влияет на представление о «новом человеке» – герое-революционере, партийце, строителе социализма? Решая эти задачи, мы обращались к произведениям как известных, так и малоизвестных советских авторов: И. Эренбурга, М. Шагинян, А. Перегудова, М. Чумандрина, Н. Дмитриева, Г. Алексева, Г. Гаузнера, Б. Лапина, Л. Славина.

В середине 1920-х гг. в статье «Пути русского духа» Эрнст Фишер называл революцию 1917 г. не политическим, не социальным, а именно «духовным» происшествием мирового масштаба». По мысли исследователя, прежде всего революция дала жизнь иному, измененному национальному сознанию, которое в полной мере отразила формирующаяся советская литература. Произведения советских авторов – это не прежний поиск ключей к тайнам трансцендентального мира особой «русско-славянской души». Это «больше не русская душа, которой восхищались, как некоей божественной загадкой» – «это дух революции», дух нового человека», – с удовлетворением цитирует Э. Фишера активный адепт нового мира, напостовский критик А. Волин [6, с. 129].

В этот период родовые понятия русской классической литературы (в их числе «тоска» и «скука») становятся частью идеологической борьбы с пережитками прошлого. Идеологами «светлого будущего» «Русская тоска» трактуется не просто как чуждая, но и как крайне опасная для нового человека и нового общества. В небезызвестном коллективном труде «История строительства Беломоро-Балтийского канала. 1931-1934 гг.» показателен эпизод о вредительстве Павла Мирошников – крестьянина, который, устроившись в МТС сторожем, перед началом сева вылил 470 центнеров горючего, и ни один трактор не смог утром выйти на пашню.

«Всю ночь перед преступлением сторож ходил пьяный вдоль рабочего поселка и орал:

- *Тоска меня гвоздит*, кем я стал, братцы. Попомните вы о стороже» [4, с. 31].

Эпизод помещен в главу с красноречивым названием – «Страна и ее враги». Здесь тоска – показатель не душевной глубины, а мужицкой бестолковости и склонности к пьянству. Похожее чувство (пьянство, лень, глупость) одолевает и героев старого мира в романе Ильи Эренбурга «День второй».

«Отец Пашки пил водку и в *тоске* кричал на сына: «Откуда ты взялся, такой мордастый?»» [12, с. 275]; «Фадей Ильич когда-то был конским барышником. ... После революции он присмирел, но не уял. Он заведовал конюшнями горсовета. Когда на него находила *тоска*, не задумываясь, он шел в «Коммерческую столовую». Водку пил из чайных стаканов и называл ее водичей» [12, с. 333].

Между тем в классической русской литературе тоска, безусловно, качественно иного свойства: «это то, что испытывает человек, который чего-то хочет, но не знает точно, чего именно, и знает только, что это недостижимо» [1, с. 169-174]. Природа «русской» тоски отличается от природы скуки: «Тоска направлена к высшему миру и сопровождается чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира. Тоска обращена к трансцендентному, вместе с тем она означает неслиянность с трансцендентным, бездну между мной и трансцендентным... Страх и скука направлены не на высший, а на низший мир. ... Скука говорит о пустоте и пошлости этого мира. ... В тоске есть надежда, в скуке – безнадежность. ... Возникновение тоски есть уже спасение» [9, с. 677-678]. Характерно, что случаи «русской тоски по запредельному» – в ее чистом, не опошленном виде – в советской прозе редки и встречаются только в отношении героев-антиподов, таких, например, как Володя Сафронов в «Дне втором» Ильи Эренбурга или Павел Иванович Розен, спорящий с автором в повести В. Дмитриева «К вопросу об индустриализации СССР».

«Кто знает, что так всполошило Володю? ... может быть, бег облаков, их хаотичность, и поспешность, передававшая всю *тоску* весеннего дня?» [12, с. 186].

На реплику автора: «Кто знает, на зависит ли наша – моя, ваша, Павел Иванович, ... жизнь, счастье, судьба от того, каким способом будет крезироваться нефть, каким газом будут наполняться немецкие «Цепелины»?..» – Розен восклицает: «Но где же вообще счастье ...? ... И разве колоссальное развитие путешествий не приводит к обезличиванию всех городов..., к тому, что *тоскующий* человек возит за собой *тоску* со скоростью 80 километров в час – и только? Счастье и несчастье где-то вне, дальше, глубже» [7, с. 13, 28].

Подверженность героя «запредельной» тоске – верный признак его чуждости новому строю, а потому в описании большевиков, коммунистов и производственников такая тоска недопустима. Любопытно, что популярный во второй половине 20-х-начале 30-х гг. автор М. Чумандрин, обычно пользовавшийся благосклонностью критиков, все же удостоился отрицательной рецензии на повесть «Бывший герой». Рецензент И. Мар писала о его героине:

«Если Надя, с одной стороны, представляет из себя положительный революционный образ, то с другой стороны, ей свойственна какая-то размягченность, раскислость. Надя то и дело предстает перед нами в своей «*тоске*», как нытик» [8, с. 237].

Неопределенность содержания «тоски» у самой И. Мар позволяет догадываться, что в повести речь идет о трансцендентном понятии. Характерно, что слова «тоска» и «скука» как характеристики внутреннего мира «новых героев» часто пишутся в кавычках – как свидетельство, что в контексте строительства социализма их употребление условно:

«...Захар Петрович, ... взглянув на секретаря, убедился, что тот... *«скучает»*. Непokoйный взгляд и насупленное лицо, равнодушный жест, с которым секретарь отложил письмо, излишек движений по комнате – ясное дело, *скучает* парногo, засел, как сыч, а то ему интересно, что на участке...» [10, с. 468].

Не менее выразительны попытки советских прозаиков объяснить тоску, которая, видимо, все же не вполне оставила советскую Россию, сугубо прозаическими причинами. Яркий пример такого комментирования мы находим в романе М. Шагинян «Гидроцентрoль».

«Со дна души у людей, искавших заработка, встала светлая, неспокойная жажда, странная щемящая *тоска*. Крестьянин весной, когда нечем сеять, испытывает ее. *Тоска по не использованной в себе и вокруг себя силе – по труду не как заработку, а как жизненной потребности*» [10, с. 251].

Детерминированность тоски бытовыми условиями, ее обусловленность нежелательным поворотом конкретных событий приводит к тому, что в советской литературе исконный, глубокий, «русский» смысл тоски исчезает. Как следствие, с одной стороны, стираются различия в художественной семантике концептов «Тоска» и «Скука». С другой – после того как критика выдвинула требование дать литературе «живого» человека, в противовес наполненным ее «человекам-схемам», «тоска» и «скука» становятся лишь негативной краской, стереотипным знаком отрицательной эмоции героя.

«В роще Колька вспомнил: надо бы поговорить о чувствах...; а когда он понял, что слов у него нет, что слова надо придумывать, он почувствовал жуткую *тоску и скуку*» [12, с. 160]. Героиня романа Г. Алексеева «Тени стоящего впереди» Надежда Борисовна «с *тоской*» говорит о том, что в ней ценят прежде всего женщину, а не коммунистку и не товарища по партии [2, с. 5]. В романе И. Эренбурга «День второй» на строительстве сибирского комбината коммунист Костя сломал ногу. «Раздался взрыв – это работали товарищи Кости. Костя отвернулся к стенке и в *тоске* забормотал: «Как это я оступился?» [12, с. 356]; Строителя Толю бросила девушка. «Он *тосковал* и хотел как-нибудь утешиться» [12, с. 298]. Коммунистка Ирина «в *тоске* подумала: «До чего он меня ненавидит!»» [12, с. 237].

Особенно частотны примеры, когда «тоска-скука» наполняет «нового человека» при столкновении с устоями старого мира, мира прошлого.

Героиня И. Эренбурга размышляет о судьбе своей матери: «... вышла замуж... сидела дома или ходила в лавки или к сестре. Нянчилась с нами. *Скучно это, так скучно, что страшно подумать*» [12, с. 329]. А вот как один из героев романа «День второй» описывает провинциальный городок, еще сохранивший старые устои: «Кажется, подуешь – и упадет. Я люблю вечером заглядывать в окна... поглядишь – и сразу станет понятно, как живут люди. Только обыкновенно – *тоска*. Сидят, зевают, пьют чай или еще ссорятся» [12, с. 243].

Авторская установка здесь очевидна: «скука-тоска» в мироощущении «нового человека» не произвольна; старый, замшелый мир плох, а потому объективно, а не субъективно скучен. В свете того, как может варьироваться семантика концепта «Тоска», интересен анализ нескольких отрывков из романа Г. Алексеева «Тени стоящего впереди». Революционер, большевик, производственник Глушков размышляет о том, вправе ли он порвать с «мещански» счастливым миром своей семьи, женой и ребенком, не должен ли он отдать себя в жертву спокойствию любящей его женщины и счастью дитяти:

«- Постойте!... а вдруг нет... ничего нет! И все эти вечно живущие вещи ваши: любовь, долг, благородство – живут не сами по себе, а есть лишь законы, параграфы уголовного кодекса, надетые истoрией на душу, как одежды на тело? А душа–то – она другая, ее не видать за параграфами, она теплый, живой зверь, который *тоскует* и рвется из обжитых, стершихся до навыка, до привычки чувств?» [2, с. 18].

В словах Глушкова, с одной стороны, будто проглядывает та, «русская», душевная тоска, которая вне объяснений и вне законов. С другой стороны, сказывается прессинг догматов идеологии: герой дает ей конкретное объяснение. *Его душа тоскует от навязанных истoрией, миром прошлого мертвых, неживых параграфов и пут*. Он на миг представляет, что совершает жертву, остается с Татьяной:

«Но вот в ... жизнь, как в окно, стучит тоска... Почему *тоска*...? Спросите меня: – люблю ли я Таню? Да, я ее люблю, – она, как умеет, делает мою жизнь счастливой. Но спросите меня же – могу ли я принять ее простодушное (читай: мещанское, ограниченное. – Е. Л.) счастье так, чтобы оно до конца наполнило меня, как стакан пивом, и чтоб это пиво не скисло во мне самом?» [2, с. 17].

Ответ на этот вопрос звучит в следующей реплике Глушкова:

«И нам, – мне, тысячам таких, как я, – революция шепнула, что человек иной, что он не собственник, не вор, что он *тоскует*, не смеет не *тосковать*» [2, с. 23].

Так в произведении окончательно расставляются акценты, пропагандируется идея *естественной* для большевика тоски по лучшей, чем мир прошлого, жизни.

Парадоксален тот факт, что в советской прозе периода первых пятилеток большевистскую «тоску-скуку» встречаем и на строительстве, и на производстве.

В романе «День второй» студент Колька приехал на стройку, увидел убожество окружающей обстановки – «*в тоске... оглядел барак*» [12, с. 163].

«Старый партизан Самушкин приехал на стройку, потому что его грызла *тоска*. Жил он от всех в стороне, работал исправно, но без рвения, а в душе по-прежнему *тосковал*» [12, с. 299].

«Колька Ржанов показал на огромное дерево, вырванное с корнем: «Здорово!». Антипов зевнул: «Я здесь с августа. Ста шагов нельзя пройти. Грязь, бурелом, *тоска*» [12, с. 355].

Совершенно загадочно, что один из героев-производственников И. Эренбурга «видел, что счастье в труде, но у него было горячее сердце, и труд казался ему скучным» [12, с. 158]. Писатель оставляет этот эпизод без комментария.

В перечисленных примерах большевистская тоска эквивалентна скуке в ее традиционном, «русском» варианте. Думается, в советской прозе такую тоску породило ощущаемое героем несоответствие между действительностью, повседневностью с ее рутинными обязанностями и проблемами и «высоким предназначением человека», которое пропагандировала эпоха.

Выводы.

Проведенный анализ показывает, что тоска как высокая устремленность к недостижимому идеалу в 1920-е-1930-е гг. фактически исчезает из советской литературы: в единичных случаях выносятся на уровне подтекста, чаще выступает как художественный прием, характеризующий героя-антипода. «Русская тоска» социально детерминируется; нивелируется, опошляется ее трансцендентная сущность. Помещенная в контекст идеологической борьбы, «тоска-загадка» становится пережитком старого мира, признаком его ущербности, а иногда и симптомом деградации. Однако догматичная, идеологизированная литература все же не может полностью пренебречь сложившейся русской ментальностью: в мироощущении героев 1920-х-1930-х гг. появляется принципиально иная тоска – не произвольная, а вызванная какими-либо бытовыми, прозаическими причинами. Вследствие этого в советской литературе исследуемого периода исчезает существовавшее в русской культуре различие между концептами «Тоска» и «Скука». В соцреалистическом произведении тоска становится стереотипным художественным приемом – знаком негативной эмоциональной реакции «нового человека» на событие или явление действительности, не соответствующее его идеалу общества «светлого будущего».

Литература:

1. Wierzbicka A. Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts in Culture – Specific Configurations. – New York: Oxford University Press, 1992.
2. Алексеев Г. Тени стоящего впереди // Красная новь. – 1928. – № 2. – С. 1-36.
3. Алексеев Г. Тени стоящего впереди // Красная новь. – 1928. – № 4. – С. 3-37.
4. Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. 1931-1934 гг. / Под. ред. М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. – М., 1998. – 616 с.
5. Вежбицкая А. Лексическая семантика в культурно-сопоставительном аспекте // Вежбицкая А. Семантические универсалии в описании языков/ Пер. с англ. А. Д. Шмелева под ред. Т. В. Булыгиной. – М.: Языки русской культуры, 1999. – С. 503-653.
6. Волин Б. Оттобауэрская хвала и клевета // Красная новь. – 1927. – № 12. – С. 124-131.
7. Дмитриев В. К вопросу об индустриализации СССР (Повесть) // Красная новь. – 1930. – № 12. – С. 3-31.
8. Мар И. М. Чумандрин. «Бывший герой» // Красная новь. – 1930. – № 1. – С. 237-238.
9. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с.
10. Шагинян М. Избранные произведения: В 2-х т. – Т. 1. – М., 1978. – 583 с.
11. Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 224 с.
12. Эренбург И. Избранные произведения: В 5-ти т. – Т. 3. – М.: Худож. лит., 1964. – 511 с.

Поступила 20.09.2004 г.